



К. В. МОЧУЛЬСКИЙ

Духовный путь Гоголя

<фрагменты>

7

«Выбранные места из переписки с друзьями»

В свободной форме писем на самые разнообразные темы Гоголь создает стройную и полную систему религиозно-нравственного мировоззрения. Ее можно принимать или отвергать, но нельзя отрицать ее значительности. «Переписка» есть плод долголетней, напряженной нравственной рефлексии, большого духовного опыта. В нравственной области Гоголь был гениально одарен; ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть ее с пути Пушкина на путь Достоевского. Все черты, характеризующие «великую русскую литературу», ставшую мировой, были намечены Гоголем: ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность и общечеловечность, ее боевой и практический характер, ее пророческий пафос и мессианство. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы. Сила Гоголя была так велика, что ему удалось сделать невероятное: превратить пушкинскую эпоху нашей словесности в эпизод, к которому возврата нет и быть не может. Своим кликушеством, своим юродством, своим «священным безумием» он разбил гармонию классицизма¹, нарушил эстетическое равновесие, чудом достигнутое Пушкиным, все смешал, спутал, замутил; подхватил вихрем русскую литературу и помчал ее к неведомым далям. Непрочным оказался русский «космос»; хаос, скованный пушкинской плеядой, снова воцарился. После надрывного «душевного вопля» Гоголя в русской литературе стали уже невозможны «звуки сладкие и молитвы». От Гоголя все «ночное сознание» нашей словесности: нигилизм Толстого, бездны Достоевского, бунт Розанова. «День» ее, — пушкинский

златотканый покров, — был сброшен; Гоголь первый «больной» нашей литературы, первый мученик ее. Можно жалеть о столь быстро промелькнувшем дне и содрогаться перед страшным ночным «карлой» — автором «Мертвых душ», но нельзя отрицать того, что великая русская литература вышла из-под плаща — из-под «Шинели» — этого «карлы». Без Гоголя, быть может, было бы равновесие, антология, благополучие: бесконечно длящийся Майков², а за ним бесплодие; после Гоголя — «полное неблагополучие», мировой размах и мировая слава.

Попробуем резюмировать «систему» Гоголя. Этическая гениальность автора «Переписки» заключается в небывалой силе и напряженности его *нравственного сознания*. Каждый человек обладает нравственной интуицией, различением добра и зла; у Гоголя она граничила с ясновидением, с пламенным вдохновением библейских пророков. У него было особое чутье, как бы особый орган восприятия зла в мире и в самом себе. Для него зло — не абстрактное понятие, а онтологическая сущность; он был подлинно и ортодоксально верующим человеком, а следовательно, *реалистом*³. «Дьявол выступил уже без маски в мире» («Светлое Воскресение»). Эти слова нужно понимать в самом прямом смысле: если же не принять *мистического реализма* Гоголя, то уж дальше идти за ним нельзя. Тут основа всего его мировоззрения. Дьявол наводит сон на людей, околдовывает их скукой, пошлостью, тоской.

«И непонятною тоскою уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже, пусто и страшно становится в Твоем мире». Для того чтобы показать, как «пусто и страшно», и были написаны «Мертвые души».

Еще мучительнее для Гоголя сознание зла в самом себе. Публичная исповедь, принесенная им на страницах «Переписки» (третье письмо по поводу «Мертвых душ»), не имеет себе подобного в русской литературе. Никто до Гоголя не говорил таким тоном, таким языком. В словах этих слышится дрожь отвращения и упоение позором: «Во мне заключилось собрание всех возможных *гадостей*, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке... Если бы... они открылись вдруг и разом перед моими глазами... я бы повесился... С тех пор

я стал наделять своих героев, сверх их собственных *гадостей*, мою собственной *дрянью*... Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего... он бы точно содрогнулся».

Какое обнажение, какая нарочитая грубость и какое отчаяние!

Но различием добра и зла нравственное сознание не ограничивается. Гоголь переживает в самой напряженной форме чувство своей ответственности за зло. Мы знаем, что с детства его преследовали страшные видения суда и возмездия; он прожил жизнь под террором загробного воздания. За каждое слово и дело ответит человек после смерти; но особенно велика ответственность писателя, ибо «слово есть высший подарок Бога человеку». После выхода в свет «Мертвых душ» Гоголь ожидал, что они потрясут Россию, разбудят ее от мертвого сна. Но никто не заговорил. Точно Россия была населена в самом деле мертвыми душами. За этот грех ответят и писатель и читатели. «Знаю, — пишет Гоголь, — что дам сильный ответ Богу за то, что не исполнил как следует своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие».

Переживая столь патетически грех и наказание, Гоголь истязал себя страхом, доводя до припадков и нервных заболеваний. В одном письме к Смирновой 1846 года перед нами немного приподнимается завеса над застенком, в котором пытал себя Гоголь. «Эти болезненные страхи, — пишет он, — эти непонятные беспокойства, эти беспрестанные ожидания чего-то страшного, долженствующего сей же час разразиться, все это уже у меня было».

Религиозное сознание писателя апокалиплично: горит земля, свиваются небеса, встают из гробов мертвецы, растут страшилища из семян наших грехов. Вот запись одного из «кошмаров, которые давили его душу»:

«Соотечественники, страшно... Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых... Стонет весь умирающий состав мой, чую исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от нас подымутся...»

Когда нравственное сознание доходит до апокалиптической раскаленности, когда экстазы сменяются кошмарами и «стонет весь состав», душа человека или гибнет, или перерождается. Страх возмездия может парализовать ее⁴, толкнуть в пропасть безумия или же, напротив, удесятерит силы. Гоголь из своего

«ада» вышел закаленным бойцом. Романтик-мечтатель превратился в практического деятеля. В нем окрепла нравственная воля и воинственный дух.

Открыв в себе «собрание всех возможных гадостей», Гоголь преодолел уныние; в душе его загорелась жажда добра; первое из качеств, данных ему Богом, было «желание быть лучшим». Вот как звучит его бранный клич:

«Я люблю добро, я ищущу его и сгораю им; но я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. *Я воюю с ними и буду воевать* и изгоню их, и мне в этом поможет Бог». Сначала «мерзости» его смущали: «я приходил от многого в уныние, и мне становилось страшно за Россию», но потом, всмотревшись в мерзости, он просветлел духом: «Передо мною стали обнаруживаться исход, средства и пути». Он возлюбил темную Россию, понял, что Божья сила именно в ее немогущности и греховности. «Уверю Вас, — пророчесствует Гоголь, — что придет время, когда многие у нас на Руси из чистеньких горько заплачут, закрыв руками лицо свое, именно от того, что считали себя слишком чистыми». И здесь он впервые дает словесное выражение одной из основных идей русской литературы, развитых впоследствии Толстым и Достоевским. Нет на свете правых и виноватых: все виноваты перед Господом «Правосудие у нас, — пишет Гоголь, — могло бы исполняться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из всех народов только в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет человека правого и что прав один только Бог». Этой идее о «правде» русского народа, противостоящей «праву» других государств, суждена была блестящая будущность.

Вооруженный верой в конечное торжество добра, Гоголь идет в бой. «Мы вышли на битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей; как добрый воин, должен бросаться из нас всякий туда, где пожарче битва. Всех нас озаряет свыше небесный Полководец...»

Воинственные, рыцарские образы соответствуют средневековому мировоззрению Гоголя. Как странно должны были прогреметь эти фанфары среди мирных садов российской словесности. Программа борьбы должна быть самая простая, практическая, утилитарная. Писатель призван служить своему отечеству, приносить реальную и непосредственную пользу людям, быть добрым гражданином и усердным работником Искусство, литература, эстетика — не автономны; существование их оправдывается только

пользой, которую они приносят человечеству. Вот знаменательные слова Гоголя: «Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всякий человек, не только один я. *Дело мое — душа и прочное дело жизни*».

Чтобы подчеркнуть практический, земной характер своего учения, автор склонен даже отрицать свою мистическую одаренность; он пришел ко Христу путем самого делового, прозаического «расчета», путем исследования и изучения. Его не занимают идеология и метафизика; он говорит о деле, о жизни, о земле. Мы читаем в предисловии к «Переписке с друзьями»: «Сердце мое говорит мне, что книга моя нужна и что она может быть полезна... Никогда еще доселе не питал такого сильного желания быть полезным».

Вся русская литература последовала за Гоголем: от него ее браннолюбивый, практический и гражданственный характер. От Гоголя — Некрасов, Тургенев, Щедрин, Толстой, Достоевский, народники, революционеры, реформаторы нашей литературы. Гоголь не хочет индивидуального спасения души; тоскуя по созерцательной монашеской жизни, он ни на минуту не соблазняется мыслью о бегстве из мира. Спасаться можно только всем миром, со всеми братьями. Вдохновенно призывает он к служению России. «Нет выше звания, как монашеское... Но без зова Божия этого не сделать... *Монастырь ваш Россия*. Облеките же себя умственно рясой чернеца и всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней... Друг мой, или у вас бесчувственно сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия».

Аскетизм Гоголя — не для личного спасения, а для служения. Христианин аскетически отвергает себя для подвига гражданского. Любовь не абстрактная — к человечеству, а живая — к ближним. В предчувствии близкой смерти Гоголь пишет в «Завещании»: «Соотечественники, я вас любил, любил той любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее благодеяние».

Отметим после военно-рыцарских образов образы монашеские. Битва и монастырь, воин и монах — характерные атрибуты средневекового мирозерцания.

Религия Гоголя — соборная. Люди — братья, живущие друг для друга, связанные общей виной перед Господом, круговой порукой и ответственностью. Всякий индивидуализм и эгоистическая

обособленность от дьявола. В духовной области нет частной собственности: все Божие, все дары посылаются для всех.

«Кто приобрел крупицу мудрости, тот уже не имеет права скрывать ее в себе от других: она не твоя, а Божие достояние. Бог ее выработал в тебе; все же дары Божий даются нам затем, чтобы мы служили ими собратьям нашим».

В этой гоголевской идее соборности и «службы» раскрывается глубочайшая истина восточного православия.

* * *

Наметив в этих чертах программу «дела жизни», Гоголь должен был определить свой путь. Он был ему подсказан его христианским сознанием; путь этот — поучение и нравственное влияние. «Бог повелел, — утверждает Гоголь, — чтобы мы ежеминутно учили друг друга». Известно, до каких наивных крайностей доходило его учение о моральном воздействии губернатора и губернаторши на общество, помещика на крестьян и бюрократа на чиновников. Других способов, кроме проповеди и личного примера, Гоголь не допускал. Любопытно сравнить его с Белинским, стоявшим на той же почве общественного реформаторства. Белинский признает только внешние, государственные методы преобразования общества: уничтожение крепостного права, отмену телесного наказания, изменение государственного строя; у Гоголя все методы внутренние, психологические: перевоспитание души человека. Для материалиста Белинского — бытие определяет сознание, для спиритуалиста Гоголя — сознание определяет бытие. Линия Белинского привела через интеллигенцию, народников и марксистов к современному коммунизму. Линия Гоголя возрождается в пореволюционном религиозном сознании. Психологический путь Гоголя обусловлен спиритуализмом всего его мировоззрения. Душа в центре мира; все от нее исходит и к ней возвращается. В ней ключ ко всему.

«Воспитываются для света не посреди света, а вдали от него... в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему, — найди только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдешь, тогда этим же самым ключом отопрешь души всех». Вот почему Гоголю понадобились долгие годы подготовки, удаления в душевную пустыню для изучения и очищения собствен-

ной души. И только наладив свое внутреннее хозяйство, он решил выступить на поприще общественно-религиозного служения. Поле борьбы добра со злом — человеческая душа; ее можно исправлять поучением, на нее можно влиять примером. Вера Гоголя в плодотворность нравственного воздействия связана с его взглядом на душевное зло. Мы уже знаем, что злую силу в мире Гоголь мыслит онтологически, как вполне реальную личность дьявола. Напротив, в человеческой душе онтологического зла он не видит. Пессимист в плане космическом, Гоголь неожиданно превращается в оптимиста в плане психологическом. В душе человека зло не имеет сущности; оно случайно, эмпирично, а потому вполне преодолимо. Работа проповедника сводится не к уничтожению зла, а к исправлению испорченного, искаженного добра в душе грешника. «Друг мой, — пишет Гоголь, — мы призваны в мир не затем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно Самому Богу, все ио, правлять к добру, — даже и то, что уже! испортил человек и обратил во зло. Нет такого орудия в мире, которое не было бы предназначено на службу Бога».

Но как же примирить с этим заявлением художественное творчество самого автора? Как оправдать чиновников из «Ревизора», помещиков из «Мертвых душ»? Неужели и это царство пошлости и смерти в глубине своей таит добро? Гоголь вынужден решиться на подобную, крайне произвольную, переоценку. Он не хочет признать, что до религиозного перелома он был живописателем зла, а вовсе не скрытым проповедником добра. Ему нужно связать две половинки своей личности и деятельности, и он вступает на скользкий путь мотивировки *post factum*.

Как бы ни был низок и порочен человек, природа его благородна: он извратил ее, редко по злой воле, а большей частью по познанию. Вот любопытное утверждение в «Переписке»:

«Если вы узнаете плута не только как плута, но и как человека вместе, если вы узнаете все душевные его силы, данные ему на добро и которые он поворотил во зло или вовсе не употребил, тогда вы сумеете так попрекнуть его им же самим, что он не найдет себе места, куда ему укрыться от самого же себя... и тогда вы почувствуете, как *благородна* наша русская порода даже в плутах». Как же происходит это *извращение* добра в душе человека? Главная причина заключается в болезни нашего времени, во всеобщем *недовольстве*. Каждый хочет быть не тем, что он есть; отсюда путаница, вихрь недоразумений, раздоры

и всевозможные пороки. Диагноз неожиданный и своеобразный. Еще более неожиданно следующее утверждение: наша жажда быть не тем, что мы есть, «может быть, происходит от прекрасного источника — быть лучше».

Когда от суждений нормативных Гоголь переходит к диагностике, почва уходит из-под его ног. Определение русской болезни как жажды быть не тем, что есть, заявление, что все пороки происходят из желания быть лучше, — причудливое доктринерство. Так же фантастично рассуждение о том, что в настоящее время все до единого грешат не прямо, а косвенно; что грехи эти «не от разврата, а от неведения»: стоит только проповеднику показать «всю цепь косвенных преступлений», как грешник «облобызает его как спасителя». Все несчастье в том, что человек не знает ни самого себя, ни жизни. «Велико незнание России посреди России». Таким образом, моральная проповедь превращается в лекции по самообразованию и нравственность заменяется познанием. Трогательно и смешно изображение «честного, но близорукого богача», у которого «дыбом поднимается волос», если только ему показать картину голода в России; или модницы, которой «не пойдет на ум какая-нибудь шляпка или модное платье», стоит лишь объяснить ей, что из-за ее нарядов муж ее берет взятки. Так постепенно все пороки и грехи русского человека сводятся к «прекрасным источникам». Как от гениальных прозрений в области нравственности Гоголь мог спуститься до такого наивного утопизма в психологии? Ответ на этот вопрос может показаться парадоксальным: *Гоголь совсем не психолог*; у него был великий художественный талант и большая нравственная одаренность. Он художник слова, юморист, лирик, мастер гротеска и фантастики, но все его творчество не в психологическом плане; он не создал ни одной живой души, ни одного реального характера. Маски и автоматы, сделанные им, так выразительны, так динамичны, что издали их можно принять за настоящих людей; но попробуйте проанализировать Сквозника-Дмухановского или Чичикова, и вы сразу почувствуете, что вместо души у них мешок с отрубями. Гоголь с детства ощущал мировое зло как начало омертвения и смерти. Пока он оставался верен своей интуиции, он гениально выдумывал мертвые души, так гениально, что даже Пушкин поверил в их реальность. Гоголь рассказывает, что после чтения поэмы Пушкин произнес: «Боже, как грустна Россия». И прибавляет знаменательную фразу: «Меня это изумило: Пушкин,

который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя *собственная выдумка*».

Когда же, вопреки интуиции, Гоголь пожелал все «мерзости» свести к «прекрасному источнику» и путем нравственного воспитания переделать мертвые души в живые, он потерпел поражение. Психологическая теория зла как искажения добра, изложенная в «Переписке», оказалась холодной утопией.

* * *

Психология Гоголя тесно связана с его социологией. Идеальный социальный уклад представлялся ему в форме патриархального крепостного права и натурального помещичьего хозяйства. Он искренне был уверен, что появление «Одиссеи» в переводе Жуковского «произведет эпоху» не только в литературе, но и в общественности; что поэма поразит «величавою патриархальностью древнего быта, простотою и несложностью общественных пружин». Влияние Гомера должно быть особенно сильно в России, ибо русская природа сохранила большое сродство с древней патриархальностью. Этим уже определяется социальная программа Гоголя: консерватизм и легитимизм, не движение вперед, а возвращение вспять, не реформы, а более строгое исполнение «обычаев старины и обрядов». Все зло от беспокойного духа. «Всякому теперь кажется, что он мог бы надеть много добра на месте и в должности другого и только не может его сделать в своей должности. Это причина всех зол... Поверьте, что Бог не даром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит».

Итак, преобразование общества начинается с приказа: всем оставаться на своих местах. Не рвать ни одной традиции, не изменять ни одного учреждения. Ибо все институты, законы, должности и установления совершенны. «Чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем более изумляешься мудрости учредителей: слышно, что сам Бог строил незримо руками государей».

Социальное зло не в законах и учреждениях, а в извращении их грешными людьми; посему каждую должность и каждое сословие надлежит ввести в законные границы, а «всякого чиновника губернии в полное познание его должности». Если, например, объяснить дворянству, что Россия несчастна потому, что «низкие

разночинцы» опозорили разные неприманчивые места и должности, то оно «встрепенется» и «отбою не будет от желающих вступить в службу».

Преобразовать Россию можно не нововведениями, а генерал-губернаторами. «В России может этому дать начало всякий генерал-губернатор вверенной его управлению области, и как просто — ничем другим, как только собственной жизнью своей».

Когда должности и сословия войдут в законные границы, Россия вернется к своему исконному патриархальному строю. Основа его — иерархия, основанная на любви. Губернатор — отец истинный всем своим подчиненным; все чиновники его дети; союз любви связывает самые высокие общественные ступени с самыми низшими. Губернатор объясняет дворянам их долг по отношению к крестьянам, «чтобы те позаботились о них (крестьянах) истинно, как о своих кровных и родных, а не как о чужих людях, и так бы взглянули на них, как отцы на детей своих». В письме «Русский помещик» Гоголь излагает своеобразную экономику: помещик — хозяин, отец своих крестьян, должен строить свое хозяйство на Св. Писании, растолковывая мужикам, что Сам Бог повелел им трудиться, примерных мужиков хвалить, а «негодяев» распекать: «Ах ты, невымытое рыло!» В этом же письме есть христианское обоснование богатства: «В которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро»; и защита невежества: «Народ наш не глуп, что бежит, как от черта, от всякой письменной бумаги». Одним словом, идеал христианина — богатый хозяин, вроде Констанжогло или Муразова из второй части «Мертвых душ»! Натуральное хозяйство, основанное на принудительном крестьянском труде, возглавляется главным хозяином — царем, который должен отчитываться перед Небесным Хозяином. И государство и общество Гоголь мыслил только в плане хозяйственном. Его построение можно назвать *экономическим утопизмом*.

* * *

Схему гоголевского социального строя можно представить себе в виде иерархической лестницы, на которой расположены должности и сословия: стоящие на одной ступени — отцы по отношению к низшей и дети по отношению к высшей. Снизу вверх из рук

в руки передается пламя любви, достигающее наконец престола. На нем сидит Монарх, возносящий любовь детей своих к Богу.

«Как это верно, — восклицает Гоголь, — что полная любовь не должна принадлежать никому на земле. Она должна быть передаваема по начальству, и всякий начальник, как только заметит ее устремление к себе, должен в ту же минуту обращать ее к поставленному над ним высшему начальству, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь самому Богу».

Мы уже неоднократно отмечали в мировоззрении Гоголя черты средневековья. Начертание этой лестницы вполне в духе феодального строя. Гоголь напрасно выставляет идеалом «Одиссею»; в античности он видел только простоту нравов и патриархальность, т. е. те черты, которые соответствовали его средневековому сознанию. Социальная пирамида острием своим упирается в небо; Царь — посредник между небом и землей. «Власть Государя, — пишет Гоголь, — явление бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле... Все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, Государь приобретет тот всемогущий голос любви, которой один только может быть доступен разболевшемуся человечеству». Со всех ступеней общественной лестницы волны любви устремляются в одну точку — к трону; и навстречу им стремится столь же сильный поток монаршей любви. В этой встрече двух любовных токов, в концентрации и объединении всего народа в любви и заключается смысл монархии.

Как не похож этот апофеоз власти у Гоголя на монархизм «Москвитянина», на программу Шевырева и на уваровскую формулу! Это — не «реальная политика», а чистая романтическая утопия, вроде произведения Новалиса «Вера и любовь, как король и королева»⁵. Гоголь видел перед собой не мрачную николаевскую Россию, а мистическое царство, некий святой град Китеж; царь представлялся ему не в образе могущественного и грозного властелина, а в образе *страдальца и молитвенника*. Он воплощение небесной любви, образ страдающего Христа; гоголевский монарх, день и ночь «скорбящий, рыдающий и молящийся», более похож на средневекового короля Людовика Святого, чем на русского самодержца Николая Первого.

* * *

Религиозная концепция власти приводит Гоголя к основной и завершающей идее его книги: к построению единой христианской культуры, к религиозному обоснованию государства и хозяйства, к полному оцерковлению мира. И если при построении христианского царства Гоголю мешало его полное незнание русской действительности, то здесь в учении о церкви этого препятствия для него не было: он знал церковь, глубоко чувствовал и понимал дух православия. Эта часть «Переписки» самая значительная. Никогда еще в русской литературе не раздавался голос такой сыновней любви, скорби и благоговения к православной Церкви. В призыве к церковной жизни Гоголь подавал руку Хомякову, Ивану Киреевскому и другим славянофилам и ставил перед русской литературой проблему *религиозного оправдания культуры*.

«Мы вообще знаем плохо нашу церковь, — пишет Гоголь. — Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы его почувствовать, но не знаем даже, где положили его. Церковь... одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, — и эта Церковь нами незнаема. *И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь...* Жизнью нашею мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть жизнь».

Гоголь мечтает о руководящей, объединяющей, просвещающей роли Церкви; европейской цивилизации, основанной на естественных науках и технике, он противопоставляет подлинное, духовное просвещение.

«Просветить, — пишет Гоголь, — не значит научить или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви... Архиерей, в торжественном служении своем, подъяема в обеих руках и троесвешник, знаменующий Троицу Бога, и двусвешник, знаменующий Его сходящее на землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося: «Свет Христов просвещает всех».

Автор сознает, что его книгу не поймут и осудят, что не признают ни его учительского, ни его пророческого служения. И он

оправдывает свое дерзновение, как оправдывали его во все времена все пророки — призыванием свыше.

«Мне ставят в вину, — говорит Гоголь, — что я заговорил о Боге... Что же делать, если говорится о Боге? Что же делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда камни готовы завопить о Боге».

* * *

В заключение рассмотрим взгляд Гоголя на судьбы России. Под влиянием и в полном согласии со славянофилами Гоголь считает Россию страной, особо избранной Промыслом Божиим. В русской лирике есть «что-то близкое к библейскому» и какое-то «пророчество о России».

«Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? Затем, что она сильнее других слышит Божию руку на всем что ни сбывается в ней и *чуёт приближение иного царствия*: оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов». Россия ближе других стран подошла ко Христу; в народной душе бессознательно живет правда Христова. Русское государство — христианское, более того, «небесное государство», почти что Царство Божие. «Служить теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которою уже Сам Христос». В такой характерной для Гоголя гиперболической форме выражена русская мессианская идея.

В заключительном письме «Переписки с друзьями», названном «Светлое Воскресение» (несомненно, самом замечательном из писем), Гоголь спрашивает, почему только в одной России так радостно и торжественно празднуется Светлое Воскресение? Почему мы верим, что свет грядущей Пасхи загорится сначала в России и из нее разольется по всему миру? Мы не лучше других народов и не ближе жизнью ко Христу, чем они. Но мы верим, что в славянской природе есть «начало братства Христова», есть отвага покаяния и любви, есть неустройство наше, дающее нам гибкость «расплавленного металла», есть единение всех сословий. «Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами

поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскресения воспразднуется как следует прежде у нас, нежели у других народов».

* * *

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь явился провозвестником идеи о *цельности духовной культуры**, о ее религиозном обосновании, об устройении человеческого общества на основах церковной соборности, о преображении мира путем внутреннего просветления человека, о иерархическом строении государства и мистическом смысле верховной власти. Он хотел свернуть ход русской истории с путей материализма на путь к новому средневековью**. В области литературы книга Гоголя знаменовала собой поворот от искусства к религии***. М. О. Гершензон называет ее самой общественной книгой в русской литературе****.

Гоголь был прав, считая свою книгу «пробным камнем»: она явилась той крупницей соли, от которой в насыщенном растворе начинается кристаллизация; она проявила и обострила процесс раздвоения, который происходил втайне в глубине русского сознания. В середине сороковых годов интеллигенция медленно отходила от религии: западники в лице Белинского, Герцена, Бакунина неудержимо стремились в сторону левого гегельянства, которое упиралось в атеизм и материализм. «Переписка» Гоголя обнаружила, что русское общество уже распалось на два враждебных лагеря и что разъединяют его не столько споры о Востоке и Западе (славянофилы и западники), не столько распри политические (консерваторы и либералы), сколько проблема о религиозном призвании России. Гоголь утверждал, что смысл национального бытия России — религиозный; что она страна мессианская, призванная распространить по всему миру Свет Христова Просвещения. На тезу Гоголя от лица русской интеллигенции ответил Белинский; в своем

* Мысль эта развита подробно в статье В. В. Зеньковского «Gogol als Denker» (*Zeitschrift für slavische Philologie*. Band IX, Het 1–2, 1932).

** Выражение Н. А. Бердяева. См. его книгу «Новое средневековье». Берлин, 1924.

*** См.: *Мережковский <Д.С.> Судьба Гоголя. Новый путь*, 1903.

**** *Гершензон М. О. Исторические записки*. М., 1910.

знаменитом Зальцбрунском письме он выставил обратную тезу. «Россия, — пишет Белинский, — видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения и гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их), не молитвы (довольно она твердила их), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства...

...По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь... Приглядитесь попристальнее и вы увидите, *что это по натуре глубоко атеистический народ*».

Теза Гоголя — русский народ самый религиозный в мире — столкнулась с антитезой Белинского — русский народ глубоко атеистический. Спор был вынесен на суд всего общества: все читали «Переписку с друзьями», а письмо Белинского распространилось в рукописном виде по всей России и не было ни одного уездного фельдшера, ни одного городского учителя, которые не знали бы его наизусть. Этот «манифест русской революции» имел трагическое влияние на судьбу России: в нем благородный и справедливый пафос свободы и человечности был незаконно соединен с борьбой против церкви и религии. С этих пор в сознании интеллигента-революционера понятие самодержавия связалось с понятием православия.

Тяжба между Гоголем и Белинским была решена в пользу последнего. Призыв Гоголя оказался гласом в пустыне. Его услышала только горстка славянофилов; за Белинским пошло громадное большинство. Россия вступала в эпоху 50–60-х годов, эпоху ликвидации идеализма, отречения от духа и погружения в материю; начиналось снижение идейного уровня, сумерки культуры. Но на голос Гоголя откликнулся Достоевский.

8

Религиозный кризис (1847–1848)

<...>

В мае 1847 года Гоголь пишет «Авторскую исповедь», в которой старается объяснить, почему он оставил искусство ради проповеди, и рассказывает «повесть своего писательства». Приписывая неуспех «Переписки» своему незнанию современного русского человека, он спрашивает себя: «Должен ли я в самом деле писать?» — и отвечает отрицательно. «Мне, верно, потяжелее, чем кому-либо другому отказаться от писательства, когда это составляет единственный предмет всех моих помышлений... Но, повторяю вновь, как честный

человек, я должен положить перо даже и тогда, если бы чувствовал позыв к нему».

Это самый трагический момент в жизни Гоголя: все воздвигнутое им здание учительства, государственного служения, общественной пользы рушится сразу; возвращение к художественному творчеству невозможно; «как честный человек», он должен отказать от всякого писательства.

Что же у него остается после двойного отречения? Пройденный им тяжкий духовный путь? Купленный столькими страданиями мистический опыт? А что если и они — заблуждение? В середине сороковых годов Гоголь переживает последний и жесточайший кризис — *кризис религиозный*. Он начинает сомневаться в самом интимном и святом — в своей близости ко Христу, в своей любви к Богу. А что, если прав Аксаков, толкующий о его союзе с дьяволом, и он действительно пребывает в греховном ослеплении и «прелести»? Гоголь вступает в последний круг своего ада — в пустыню *богооставленности*. Раньше он говорил о Боге, потому что ему «невольно говорилось», потому что это было ему дано свыше; теперь он полон опасений, недоверчивости, сомнений, как внезапно ослепший боязливо шарит вокруг себя. В письме к Иннокентию, архиепископу Херсонскому, Гоголь пишет: «Я дал себе слово остановиться писать, видя, что нет на это воли Божьей. Говорить о мелком и ничтожном в жизни не хочется; говорить же о высоком, — но тут на всяком шагу встретишься со Христом и можешь наговорить нелепостей». Так легко отрекается он от себя, так покорно и смиренно повторяет то, что внушили ему его враги.

<...>

9

Духовное просветление (1848–1851)

<...>

Зима 1848–1849 гг. была для Гоголя временем не *только* восстановления физических сил; параллельно с этим шло душевное успокоение; тон писем становится бодрее: можно предполагать, что в это время он понемногу изживал свой религиозный кризис. Вера его, после кратковременного шатания, укрепилась; упорной работой над самим собой он освобождался от остатков эгоцентрической замкнутости. Это период аскетического очищения жизни и душевного просветления.

В религиозном возрождении Гоголя главная роль принадлежит о. Матвею Константиновскому. Как известно, вопрос об отношениях Гоголя и отца Матвея очень занимал биографов; было высказано много догадок и построено много гипотез. Наиболее блестящая из них принадлежит Д. С. Мережковскому. Любитель резких противополжений Мережковский изображает отца Матвея мрачным аскетом — изувером, внушившим писателю мысль об *уничтожении* «Мертвых душ» и тем убившим сначала его душу, а потом и тело. Рассказав о смерти Гоголя, автор заключает: «Борьба была окончена, совершилась «страшная месть»: не-человек победил человека, посмеялся над тем, кто думал над ним посмеяться». Мы знаем, что Гоголь в своих произведениях хотел посмеяться над чертом; значит, под «не-человеком» Мережковский понимает одновременно о. Матвея и черта или просто считает о. Матвея чертом. Излишне говорить, что все эти эффекты ни на чем не основаны. Приписывать влиянию о. Матвея сожжение второй части «Мертвых душ» вполне произвольно; изображать священника Константиновского в виде Савонаролы нельзя, так как это противоречит фактам. Отец Матвей был не фанатик-изувер, а простенький, застенчивый, ничем не замечательный уездный батюшка.

В «Жизни и трудах Погодина» Н. Барсукова об о. Матвее сказано следующее: «Он был невысок ростом, немножко сутуловат, у него были серые, нисколько не красивые и даже не особенно выразительные глаза, немножко вьющиеся светло-русые с проседью волосы, довольно широкий нос; одним словом, по наружности и внешним приемам это был самый обыкновенный мужичок, которого от крестьянина села Езька или Диева отличал только покроем его одежды... Правда, во время проповеди (он говорил прекрасно, восхищавшим Гоголя живым народным языком), а также при совершении литургии лицо его озарялось и светлело; но то были преходящие последствия внезапного восхищения, по миновании которых наружность его принимала свой обычный незначительный вид». А вот другое свидетельство. И. Л. Щеглов («Гоголь и о. Матвей Константиновский». Новое время, 1901) сообщает со слов оптинского инокa о. Э. В.: «Несокрушимость его (о. Матвея) веры являла иногда примеры поистине невероятные... Когда по доносу о том, будто он смущал народ своими проповедями, его вызвали к Тверскому архиерею и тот стал кричать на него, грозя упрятать его в острог, о. Матвей отрицательно качал головой: «Не верю, ваше преосвященство». — «Как ты смеешь так отвечать?» — загремел владыка. «Да, не верю, ваше

преосвященство, потому что это слишком большое счастье пострадать за Христа. Я не достоин такой высокой чести». Эти слова так озадачили владыку, что он с тех пор оставил о. Матвея в покое».

Наконец протоиерей Ф. И. Образцов в своих воспоминаниях об о. Матвее (Тверские Епархиальные Ведомости, 1905) пишет:

«Говорят, что о. Матвей был суровый печальный, строптивый, мрачный фаната Ничего такого не было в о. Матвее. Напротив, он всегда был жизнерадостен; мягкая улыбка очень часто виднелась на его кротком лице; никто не слышал от него гневного слова, никогда он не возвышал своего голоса; всегда был ровный, спокойный, самообладающий. Жизнь вел строго воздержанную...

Ворота его дома всегда были открыты для странников, — нижний этаж дома постоянно был занят ими...

...Проповедь о. Матвея всегда была импровизированная, на текст дневного Евангелия. Простота слов, живая образность поражали слушателя, искреннее убеждение неотразимо действовало на сердце».

Прекрасный проповедник, простой «народный» батюшка, совсем не богослов, но человек, заслуживающий уважения, священник, лицо которого «озаряется» во время совершения литургии, таков был о. Матвей. Где же тут демонический «нечеловек»?

Просмотрим теперь письма Гоголя к о. Матвею. Первое письмо — при посылке «Переписки»: просьба дать отзыв и молиться за автора; отношения еще самые далекие. «Не затрудняйтесь тем, что меня не знаете», — пишет Гоголь. Из второго письма явствует, что отец Матвей осудил «Переписку» и написал Гоголю, что тот даст за нее ответ Богу. Гоголь не соглашается с такой оценкой, спорит и доказывает, что намерение его было доброе и что книга его полезна. По возражениям его можно заключить, что о. Матвей не одобрил главным образом статью о театре. Но автор остался при своем мнении. По сравнению с обличениями Аксакова, Белинского, духовных и светских рецензентов замечания о Матвее были незначительны и особого впечатления на Гоголя не произвели.

В следующем письме о. Матвей, успокаивая Гоголя, советует ему не оправдываться перед критиками «Переписки», «слушаться духа, в нас живущего, а не земной телесности нашей» и «поворотиться во внутреннюю жизнь»; в своем ответе Гоголь объясняет о. Матвею, почему он занимается литературой. Из текста письма отнюдь не следует, что о. Константиновский внушал Гоголю бросить литературу, однако под влиянием письма батюшки о духовной жизни Гоголь задумался о совместимости духовного пути

с путем писательским и пришел к выводу: «Закон Христов можно исполнять также и в звании писателя. Если писателю дан талант, то верю, не даром и не на то, чтобы обратить его во злое». Письмо написано с дружеской откровенностью и любовью к о. Матвею. «О, как бы мне хотелось открыть Вам всю душу, — восклицает Гоголь, — быть у Вас в Ржеве, исповедаться и сподобиться причащения Тела и Крови Христовой, преподанных рукою Вашей».

Перед отъездом в Иерусалим Гоголь снова пишет о. Матвею; из его оправданий ясно становится, к чему сводились возражения о. Матвея на «Переписку». «Я, точно, моей опрометчивой книгой, — пишет Гоголь, — показал какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства». Вот драгоценное признание. Гоголь мечтал о вселенском учительстве, и о. Матвей справедливо упрекнул его в гордыне. В конце письма Гоголь прибавляет: «Поручение Ваше исполняю: Евангелие читаю и благодарю вас за это много». После возвращения из Святой Земли он пишет о. Матвею из Одессы, благодарит батюшку за то, что тот «положил себе молиться о нем всякий день». «Часто я думал: за что Бог так милует меня и так много дает мне вдруг».

Еще одно короткое письмо из Москвы от 9 ноября 1848 года, и переписка прерывается на два года. Наконец в 1850 году Гоголь сообщает о. Матвею, что «создание его уже обдуманно и готово» и что он только ждет «орошающего освежения свыше», а «как бы хотелось сердцу поведать славу Божию». В заключение просит батюшку молиться, чтобы он мог закончить свой труд. Это письмо окончательно рассеивает все недоразумения, накопившиеся в литературе вокруг отношений Гоголя и о. Матвея: если бы о. Константиновский осуждал литературную деятельность Гоголя и внушал ему отказаться от художественного творчества, тот не мог бы обратиться к нему за благословением своему труду.

Мы приходим к следующим выводам: познакомившись через графа Толстого с ржевским священником, Гоголь сразу почувствовал духовную высоту этого скромного батюшки-мужичка. Отец Матвей осудил «Переписку» за отсутствие в ней подлинного христианского смирения и за претензию автора на вселенское учительство. Он стал влиять на Гоголя, стараясь приблизить его к евангельскому идеалу и углубить его внутреннюю жизнь. В момент религиозного кризиса Гоголь обратился именно к о. Матвею, признавшись ему, что теряет веру; о. Матвей своими наставлениями и молитвами помог Гоголю пережить кризис.

* * *

<...>

К последним месяцам жизни относится окончание «Размышлений о Божественной Литургии», задуманных в 1845 году. Много лет изучал Гоголь богословскую литературу и чин Литургий Восточной Церкви. По словам доктора Тарасенкова, незадолго до смерти «он окончательно отделал и тщательно переписал свое заветное сочинение, которое было обрабатываемо им в продолжение почти 20-ти лет (?); наконец, после многих переделок, переписок, он остался им доволен, собирался печатать, придумал для него формат книги: маленький, в осьмушку, который очень любил, хотел сделать это сочинение народным, пустить в продажу по дешевой цене и без своего имени, единственно ради поучения и пользы всех сословий. Это сочинение названо «Литургия».

Работа Гоголя и до наших дней является одним из самых проникновенных и духовных толкований Литургии.

Автор «Мертвых душ» шел к Богу не путем любви, а путем страха. Он видел в Нем грозного карателя и боялся вечного наказания. Но после религиозного кризиса, на конце жизненного пути он пришел ко Христу — Искупителю. Во вступлении к «Размышлениям о Божественной Литургии» Гоголь пишет: «Вопли услышались: явился в мир, Им же мир бысть: среди нас явился в образе человека... не в гордом блеске и величии, не как каратель преступлений, и не как судия, приходящий истребить одних и наградить других. Нет, послышалось кроткое лобзание брата...»

В этих словах — «Ныне отпускаеши» Гоголя. Чувство Христовой милости и всепрощения наполняет его духовной радостью.

Второй своей сестре, Ольге, Гоголь пишет за два месяца до смерти: «Нам следует ежеминутно благодарить Бога, благодарить Его *радно, весело*. Не быть радостным, не ликовать духом — даже грех. ...Вся наша жизнь должна быть неумолкаемой, радостной песнью благодарения Богу».

Нельзя без волнения читать слова, писанные Гоголем Жуковскому за три недели до кончины:

«Помолись обо мне, чтобы работа моя была истинно добросовестна и чтобы я хоть сколько-нибудь был удостоен пропеть *гимн Красоте Небесной*».

В этот день, 2 февраля 1852 года, Гоголь достиг вершины своего духовного пути. В его торжественных словах — увенчание дела всей жизни: «пропеть гимн Красо-а те Небесной...»

11

Заключение

Оглядываемся на путь, пройденный нами по следам Гоголя. Одно впечатление преобладает над всеми: жизнь Гоголя полна таинственного смысла и трагического величия. Прав Иван Аксаков, сказавший о Гоголе: «Жизнь его представляет такую великую, грозную поэму, смысл которой останется долго неразгаданным».

Думаем, что смысл жизни Гоголя не будет никогда разгадан; он лежит в той области, на пороге которой изнемогают все человеческие домыслы.

Но какой скорбный, какой страшный путь! Какими непрерывными, многообразными и изощренными страданиями куплено его величие! Жизнь Гоголя — сплошная пытка, самая страшная часть которой, протекавшая в плане мистическом, находится вне нашего зрения. Человек, родившийся с чувством космического ужаса, видевший вполне реально вмешательство демонических сил в жизнь человека, воспринимавший мир *sub specie mortis*, боровшийся с дьяволом до последнего дыхания, — этот же человек «сгорал» страстной жадой совершенства и неутолимой тоской по Богу. Душа Гоголя — сложная, темная, предельно одинокая и несчастная; душа патетическая и пророческая; душа, претерпевшая нечеловеческие испытания и пришедшая ко Христу.

В Гоголе дано наивысшее напряжение противоположностей, наибольшее раздвоение.

«Я не знаю, — пишет С. Т. Аксаков, — любил ли кто Гоголя. Я думаю, нет; да это и невозможно. Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов, не мог произвести в себе этого чувства к всю последнюю ночь».

И тот же С. Т. Аксаков заявляет: «Я признаю Гоголя *святым*, это истинный мученик нашего времени и в то же время мученик христианства».

И «не человек», и «святой» — это масштаб души Гоголя.

